



А. Мальцев

От экзистенциализма Шестова к постэкзистенциализму Гомбровича

Умя Шестова в известных нам текстах Гомбровича упоминается лишь однажды: как одна из трех русских «ветвей» (с Бердяевым и Соловьевым) «философического генеалогического древа», нарисованного польским писателем в 1954—1955 годах. Но можно предположить, что влияние Шестова на Гомбровича значительнее и глубже. Возможно, для понимания «польской формулы экзистенциализма»¹ Гомбровича параллель Гомбрович — Шестов дает не меньше, чем проводившаяся многими исследователями² аналогия Гомбрович — Сартр, с которым польский автор ведет диалог на страницах трехтомного «Дневника». На отличие от Сартра и сходство с Шестовым указывает бессистемный характер мышления Гомбровича, который последовательно избегает академизма, стремится к «отрывочной» форме изложения мыслей, не ретуширует противоречивость идей, а подает ее крупным планом, шокирует парадоксальным ходом мысли, «провоцирует» читателя на ответные выпады. В русской культуре творчество Гомбровича находит двух предтеч — Розанова³ и Шестова. В свою очередь творчество Розанова, Шестова и Гомбровича восходит (по-разному) к традициям Достоевского и опирается на диалог с автором «Преступления и наказания». Одним из первопроходцев европейского экзистенциализма был, несомненно, Шестов, создателем польского экзистенциализма может считаться Гомбрович. Экзистенциализм как «некабинетная» философия XX века сближает русского мыслителя и польского писателя. Высказывание Милоша о Шестове: «Может быть, Шестов есть пример преимуществ русского "культурного отставания": никакого богословия и никакой схоластической философии в прошлом, никакой университетской кафедры философии, где можно было бы о ней говорить, зато тьма философствующих, причем страстно философствующих, каждый на свой лад»⁴, — позволяет видеть генеалогическую общность польской и русской мысли в иррационалистическом средстве литературного и философского творчества.

Говоря о специфике экзистенциалистского мышления Гомбровича, Э. Сабатто подметил: «...настоящий экзистенциалистский бунт против цивилизации охватил варварскую периферию; чтобы в этом убедиться, достаточно назвать имена Достоевского и Кьеркегора, Ницше и Унамуно»⁵. Точкой пересечения творчества Шестова и Гомбровича является программный тезис о «периферийном», «провинциальном» источнике их философских идей. «Периферийность» значит здесь неупорядоченность, бессистемность открытий, заведомая невозможность объять бытие посредством рассудочных теорий. Антагонистической Шестову «столицей» философского рационализма были Афины, для Гомбровича ту же роль играл Париж, по отношению к которому автор «Фердидурке» и «Дневника» испытывает комплекс «варвара», «провинциала», «недоросля» в сравнении с интеллектуально «зрелыми» парижанами, но, усиливая и даже утрируя «провинциальную незрелость», Гомбрович бунтует против парижской философии, литературы, искусства, против стиля Парижа и рабского преклонения перед Парижем, заключая против него союз... с Сартром. Иррационализм Шестова имеет исход в идее веры Иерусалима, допускающего чудотворную возможность невозможного. Антирационализм Гомбровича, наоборот, оставаясь холодно-скептическим по отношению к идее веры, творящей чудеса, обособляется не только от Шестова, но и от Кьеркегора, приближаясь к атеистическому типу экзистенциализма.

В начале книги философских фрагментов «Апофеоз беспочвенности» Шестов создает иносказательный образ «периферийного» философствования, богатого случайностями и неожиданностями: «Дальние улицы жизни не предоставляют тех удобств, которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров. Нет электрического и газового освещения, даже керосиновых фонарей, нет мостовых — путнику приходится идти наугад и в темноте ощупывать дорогу. <...>. Что можно при таком свете увидеть? И как можно требовать отчетливости и ясности в суждениях от тех людей, которых любознательность... осудила странствовать по окраинам жизни? И как можно их дело приравнивать к делу обитателей центров?»⁶. По Шестову, философствование как способ существования на «окраине» не имеет ничего общего с комфортом: это беспокойный, скитальческий, кочевой образ жизни. Философия — не логика, категоричностью которой «снимаются» неудобные вопросы бытия, а искусство, «выносящее человека в безбрежное море фантазии, фантастического, где все одинаково возможно и невозможно»⁷. Следуя принципу Ницше «центр всюду», Шестов приходит к выводу, что в «последних вопросах», которыми занимается философия, подрывается авторитет центров: они могут быть потеснены и даже вытеснены окраинами. Поэтому, парадоксально пишет Шестов, «...нам нужно идти к дикарям не затаем, чтобы насаждать у них культуру, а чтобы учиться у них философии»⁸.

Иносказательно выраженному миропониманию Шестова Гомбрович нашел «практическое»⁹ применение: странничество, «бродяжничество» — не только метафора, но и факт биографии Гомбровича. В «открытое море» бытия он выходит не только фигурально, но и буквально: плавая по «ужасающей реке жизни»¹⁰ Рио Парана («Дневник» за 1956 год), дважды пересекая Атлантику — держа путь из Европы в Аргентину (1939) и обратно (1960), в обоих случаях — навстречу неизвестному. Идя за случаем и превращая случай в судьбу, в «провинциальной» Аргентине Гомбрович провёл более двадцати лет. Аргентина, по Гомбровичу, — одна из «окраин» цивилизации, и жизнь здесь, перефразируя Шестова, есть непрерывный урок философии. Расположенная меж двух океанов в соседстве Антарктиды Аргентина, по Гомбровичу, — это страна «"не заселенная" и недраматическая» (1, 181)¹¹, «одинокая на карте», «как рыбий хвост, простирающийся до южного полюса», освобожденная «от истории» (3, 141): в ее перспективе мир выглядит иначе, чем с позиции европейца. Если Аргентина, считает Гомбрович, преодолеет болезнь роста — соблазн подражания «зрелой» мудрости старого континента, то в ней созреет истинно экзистенциалистский «бунт против цивилизации»: «В этом климате, в этом соцветии мог бы возникнуть действительный и творческий протест против Европы, если бы... если бы мягкость нашла способ быть твердой... если бы неопределенность могла бы стать программой, или дефиницией» (1, 114).

«Старость» («зрелость») русский и польский авторы называют краеугольным камнем культуры, знаком принадлежности к элите. «...На этом гранитном фундаменте, — по Шестову, — строятся целые философские системы»¹². Следовательно, «незрелость» мысли превращается едва ли не в табу: от нее следует избавляться, а если это невозможно, то в ней не следует признаваться. «Взрослые, — пишет автор «Фердидурке», — ни к чему иному не питают такого отвращения, как к незрелости, и нет для них ничего ненавистнее. <...> Если они пронюхают у кого-нибудь незрелость, если почуют запах молокососа и сопляка, тотчас же набросятся на него, заклюют, как лебеди утку, — сарказмом, иронией, издевкой ухайдакают, не допустят, чтобы паскудил им гнездо подкидыш из мира, от которого они давно уже отреклись»¹³. Шестов и Гомбрович считают, что избранная элитой «абсолютная» точка отсчета является произвольной. Поэтому Шестов парадоксально называет дикарей «экспертами» от философствования, а для Гомбровича жизненным центром, второй родиной становится далекая, цивилизационно «молодая» Аргентина.

Общезначимым научным, философским, религиозным истинам Шестов противопоставляет правды индивидуального бытия, парадоксальные и даже возмутительные для «общественного мнения». Слова Пушкина о таинстве поэта и поэзии «ты сам свой высший суд», по Шестову, прием-

лемы для философа и философии, устремленной от мира «других» к себе, ибо «*последнее слово философии — одиночество*»¹⁴. Резон индивидуалистического вектора, по Виктору Ерофееву, — в «коррективе эпохи» позитивизма, однако в такой последовательности Шестова есть сильные и слабые стороны: «Шестов боролся за восстановление прав индивида, за его достоинство, и в этой борьбе он шел действительно за Достоевским. Но роковым его шагом, подсказанным Ницше, стала идея решительного разрыва с "другими"; погружения его в одиночество как в единственную подлинную среду для исследования его сущности и поисков путей к спасению»¹⁵.

То, что Шестову представлялось парадоксальным и рискованным выпадом против общепризнанных истин, для Гомбровича превратилось в псевдоаксиому *западноевропейского* экзистенциализма. «Отталкиваясь» от «индивидуалистического, слишком абстрактного» мышления Камю, Гомбрович пишет о восточноевропейской дистанции по отношению к индивидуализму Запада: «Камю, [идя] следами других (следами Шестова? — Л. М.), изымает человека из людской массы, и даже из общения с другим человеком, соотнося единичную душу с экзистенцией, — это выглядит так, как если бы рыбу изъясил из воды»; «И здесь бы я хотел сказать... не воспринимайте меня одинокой душой в космосе — путь ко мне ведет через других людей» (1, 71). Если «классический» экзистенциализм Шестова, опирающегося на Ницше, есть апология одиночества и отторжение бытия с «другими», то Гомбрович, говоря о предопределенности бытия с «другими», все же не считает, в отличие от Сартра, что «ад — это другие». «Я», по Гомбровичу, может освоиться среди «других», играть формами-стереотипами, сложившимися «между» людьми. Таким образом, миропонимание Гомбровича приобретает постэкзистенциалистский характер: это уже не «философия одиночества», а осознанное принятие прагматической точки зрения «других» людей, будь то «молочника, аптекаря, ребенка аптекаря и жены столяра» (1, 147).

Гомбрович выражает неверие в экзистенциалистскую «философию одиночества», выстраивая парадоксальную концепцию «зеркальной» совести Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского. Гомбрович одновременно опирается и отталкивается от положений русского предшественника. Шестов в отношении «Преступления и наказания» выдвигает парадоксальную идею «формального» преступления. Согласно этой идее, жертвы «не играют никакой роли» в идейном содержании романа, Раскольников, по его же словам, убивает «принцип», а не старуху, он наказан за то, что переступил черту, которую никому не дано переступать, что нарушил абсолютную заповедь «не убий», и даже сами жертвы, Алёна Ивановна и сестра ее Лизавета, являются лишь эпизодическими фигурами во внутренней трагедии преступника, а к концу романа совсем

исчезают из поля зрения Раскольникова¹⁶. По Шестову, сам автор со свойственным ему «жестоким талантом»¹⁷ «душит» героя, прививает чувство вины и заставляет раскаяться. Не последнюю в этом роль играет отрицательное отношение Достоевского к теории Раскольникова. Не случайно Порфирий, прочитав статью о двух человеческих разрядах, «распознал» в ее авторе преступника; заочно, еще не зная лично Раскольникова, вынес ему приговор. Противоположна авторской концепции идея Шестова: «Раскольников не убийца: никакого преступления за ним не было»¹⁸, «Достоевский только для порядка взвалил на него обвинение в убийстве»¹⁹, Раскольников «оказался раздавленным неизвестно за что»²⁰. В констатации абсурдности наказания и проявляется индивидуалистический угол зрения мыслителя.

В духе учения Ницше Шестов ставит проблему двойного понимания совести в романе. То, что Разумихин назвал «кровью по совести», свидетельствует о феномене отрицательной «совести», согласно которой, по Раскольникову, не зло порочно, а человеческая слабость, которая мешает «решиться»: преступить закон и перейти из касты рабов в касту господ²¹. Достоевский, наоборот, отвергает «кровь по совести» сверхчеловека Раскольникова, заставляя его вернуться к совести в традиционном понимании — как утверждению добра.

В «Дневнике» (1960) Гомбрович также выводит крайне парадоксальную интерпретационную формулу романа. Как и Шестов, польский автор исходит из того положения, что никаким сознанием собственной преступности Раскольников изначально не обладал. Но если Шестов видит в романе конфликт традиционной и «сверхчеловеческой» совести, то согласно Гомбровичу, по ходу действия романа все более прорисовывается образ совести «межчеловеческой», или «зеркальной». Моральной «инстанцией» для человека является не он сам (как полагает друг и собеседник Гомбровича Гомес), а «другие»: «Раскольников не один, — пишет автор, — он находится в определенной группе людей, Соня... следовательно... сестра и мать... друг и другие... таков этот мирок. <...> Для себя самого он (Раскольников. — Л. М.) туман, а туману все позволено. Но он знает, что другие видят его яснее, выразительнее, хоть и более поверхностно, и суд над ним уже был бы возможен. <...> С этого подозрения чувство вины начинает в нем кристаллизироваться, он уже видит себя немного глазами других как преступника — и этот свой образ в мыслях повторно передает другим — и оттуда возвращается ему еще более отчетливый облик убийцы и карающий суд». Итак: Раскольников «поддается искусственной, межчеловеческой, зеркальной совести, будто бы она была его настоящей совестью» (2, 199—200).

И Шестов, и Гомбрович воспринимают морально-этическую проблематику романа с релятивистских позиций. Оба считают, что отношение к

Раскольникову зависит от избранной точки отсчета, поэтому в любом случае нельзя говорить об абсолютной справедливости приговора. Если по Шестову Раскольников «приговаривает» к нравственным мучениям автор, а «другие» в суде совести играют роль минимальную, то по Гомбровичу роли «палачей» отводятся именно «другим» (Соне, Порфирию, Свидригайлову). Шестов говорит о зрелости мысли Раскольникова, который ставит перед собой фундаментальные вопросы бытия. Гомбрович, наоборот, намекает на незрелость героя, его незнание, где хорошо, а где плохо («для себя самого он туман»). По Шестову, Раскольников руководствуется «особой» совестью право имеющих — по Гомбровичу, изначально не имеет о ней представления, и только при вмешательстве «других» «устанавливает» себе совесть.

При всей парадоксальности мышления Шестов ближе автору «Преступления и наказания», чем Гомбрович. В духе Достоевского философ пишет о *трагедии* совести Раскольникова, о его внутренней борьбе с собой, тогда как — по Гомбровичу — совесть Раскольникова не «внутричеловечна», а «межчеловечна». Раскольников в этом понимании близок *tabula rasa*: наедине с собой он «туманен», не ясен себе. Парафраз Гомбровича из Достоевского «туманности все позволено» можно переложить следующим образом: если формы нет, если она расплылась в туман, то все позволено. В период «туманности» (бесформенности) Раскольников, по Гомбровичу, находится вне общества, поэтому не верит в Бога и не имеет совести. В общении Раскольникова с Соней, Свидригайловым и Порфирием «кристаллизуются» его этические представления. Из прочтения Гомбровичем «Преступления и наказания» напрашивается вольтеровский вывод, обратный, по сути, мировоззрению Достоевского: если Бога и совести нет, то... их следует создать, чтобы не было все позволено. При воздействии «других» хаос моральных представлений индивида преобразуется в космос.

Развернутой пародийной «цитатой» из Достоевского является рассказ Гомбровича «Преднамеренное убийство» (*Zbrodnia z premedytacją*) из сборника «Дневник периода возмужания» (*Pamiętnik okresu dojrzałości*, 1933). Его связь с «Преступлением и наказанием» столь очевидна, что Е. Яжембский высказал предположение: «...интерпретация основополагающей проблемы шедевра Достоевского родилась на тридцать лет раньше»²². Интертекстуальным «сигналом» является парафраз высказывания из «Бесов»: «...как — говоря словами Достоевского — приготовить печенье из зайца, если у вас нет зайца»²³. В связи с этим последовательность *преступление — наказание* в сознании следователя из рассказа Гомбровича ставится с ног на голову: должно быть наказание, следовательно, нужно «измыслить, задумать, обдумать» преступление²⁴.

Мишенью Гомбровича является психологический метод Порфирия Петровича, по которому состояние мыслей и чувств подозреваемого важнее фактических данных дела (подозрение у следователя из «Преступления и наказания» шевельнулось уже в момент прочтения статьи в журнале «Периодическая речь» и укрепилось после очного разговора с Раскольниковым на тему, не имеющую прямого отношения к следствию). По Порфирию Петровичу, важно не «математически» доказать виновность, а довести преступника до такого состояния, когда тот «сам придет». Автор «Преднамеренного убийства» доказывает, что метод Порфирия Петровича оправдан лишь тогда, когда подозреваемый действительно виновен. В противном случае следователь, из дурного настроения или скверного характера, может попросту манипулировать эфемерными уликами, «гипнотизировать» намеченную жертву (если та поддается внушению) и таким образом создать повод для ареста и суда на пустом месте. Более того, добиться, чтобы потенциальный осужденный сам начал «сотрудничать» со следствием.

Толчком к созданию рассказа о «наказании без преступления» могло послужить допущение Шестова: «Мне кажется, что, если б он (Достоевский. — Л. М.) мог, не запутывая слишком романа, так сделать, чтоб Раскольников ударил топором старуху уже после того, как она умерла раньше естественной смертью, — он бы это сделал, и потом все-таки заставил бы Раскольникова угрызаться, отдать себя в руки правосудия, пойти на каторгу и т. д.»²⁵. Именно так персонаж «Преднамеренного убийства» Антоний, «дозревший» до признания, улаживает «пустую формальность» — душит холодный труп своего отца, чтобы облегчить работу следователю. Так в целях «наказания» конструируется «преступление».

Традиции экзистенциализма Шестова Гомбрович переосмысливает в XIV разделе II тома «Дневника», где авторским сознанием владеет навязчивое впечатление «руки официанта из *Café Querandi*». Переосмысление, даже дистанция по отношению к философии Шестова, связаны с полемическим отношением Гомбровича к тезису о несовместимости «философии трагедии» с оптимистической апологией «радостей жизни». Сюжет автономной философской новеллы о «руке официанта» Гомбрович, в традициях стиля Шестова, метафорически определяет как странствование в «открытом море» мысли (2, 192), «блуждание по периферии» сознания (2, 196). Конструкция новеллы держится на странном сопряжении возвышенного, банального и inferнального: автор слушает музыку Баха, «пьет кофе, ест рогалики», читает прессу, обедает у французского дипломата — и попадает в «метафизический шторм», «трансцендентальный ураган». Подшучивая над «клоунадой» «последних вопросов» (искусство, стоя «над бездной», пить «кофе с рогаликами»), трагик и комик Гомбрович чувствует, как «рука» затягивает в «бездну».

До того (и, возможно, «после») как в поле зрения попала «рука официанта», Гомбрович «пил кофе, ел рогалики» (2, 190) — в тексте «Дневника» это занятие парадоксально ассоциируется с академическим экзистенциализмом Хайдеггера: «Неподобающее занятие соответствовать всем требованиям Dasein'a, а заодно пить кофе с рогаликами на полдник» (1, 290). В «горизонт» отрывка попадают и крылатые слова «неакадемического» «подпольного» философа из повести Достоевского: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»²⁶. То есть, согласно герою Достоевского (и Гомбровичу), можно быть свидетелем «минут роковых», не отрываясь от обычных, даже приятных занятий. Шестов считает невозможным совмещение приятного с ужасным, приводя в пример «умного и трезвого мальчика», убежденного, что в момент кораблекрушения он «не ушел бы от стола и ел бы сладкое до самой последней минуты»: «Сегодня господствует в тебе здравый смысл, и сладкое для тебя является высшим законом. Но завтра ты прогонишь и здравость, и смысл, сдружишься с бестолковостью и нелепостью и, может быть, даже полюбишь горькое»²⁷, — такую отповедь «умному мальчику» дает Шестов. Он выступает также с критикой непоследовательности метафизики, с одной стороны, как гонительницы эвдемонизма, с другой — искательницы эвдемонистического «утешения»²⁸.

Критика Шестова направлена не в адрес Достоевского, хотя в подтексте читается фраза «Записок из подполья». Шестов исходит из ограниченности «удовольствия» рационалистическим толкованием, совмещенным с императивом пользы. Но уже в XIX веке произошел выход за границы такого понимания. Уже Достоевский пришел к выводу, что «удовольствие» носит обоюдоострый характер. Чувства «подпольного» парадоксальны: он находит удовольствие в боли зубов. Разрушительно-приятным ощущениям предаются «родственные» «подпольному» человеку герои Достоевского: например, Свидригайлов, ищущий блаженства в разврате. Образ «пауков в бане» вызывает отвращение, но для Свидригайлова вызвать отвращение — значит испытать удовольствие. У отрицательных героев Достоевского приятное всегда совмещено с низким.

Таких крайностей пытается избежать Гомбрович. «Пить кофе, есть рогалики» или «готовить белье для стирки», естественно, не эпатаж, но констатация раздвоенного состояния: погруженности в мелкие дела — при ощущении близости «космически» трансцендентного. Оппозиция подлинного — неподлинного «снимается» у Гомбровича как бытие подлинное в неподлинном. Гомбрович, наверное, скептически отреагировал бы на допущение Шестовым возможности «полюбить горькое». В «Фердиурке» Гомбрович саркастически пишет о «вкусностях» изящной словесности: «Нет, не говорите мне о ваших зарифмованных болях, которые мы

проглатываем легко, словно устрицы, не говорите о ваших конфетках позора, шоколадном креме ужаса, пирожных нищеты, леденцах страдания и лакомствах отчаяния». С другой стороны: «...в мире все еще существуют несъедобные комбинации, рвотные, плохие, дисгармоничные, отталкивающие и отвратительные, ах, просто дьявольские, которые организм человеческий не принимает»²⁹. В пассаже о «руке официанта» контрастируют «вкусное» и «несъедобное», «сладкое» и «горькое», «кофе с рогаликами» и «баня с пауками» — все вместе взятое это означает несовместимость «человеческого» с демоническим. Можно формулировать «последние вопросы», находясь «по сю», а не «по ту» сторону, когда «пьешь кофе, ешь рогалики», а не мучаешься от боли. По Гомбровичу, возможности интеллекта проявляют себя в «средних температурах». Вопрос героизма, но не интеллекта — в том, чтобы перенести стиль поведения «средних температур» в мир экстремальных температур, «обживая», таким образом, просторы «космоса».

Гомбрович, на наш взгляд, был внимательным читателем Шестова. Интуитивные прозрения русского мыслителя не меньше, чем система Сартра, задали направление послевоенного творчества Гомбровича. По мере того, насколько апология «незрелости» у польского автора вписывается в бунт «окраин» против «центров», его творчество приближается к экзистенциализму Шестова. Однако чем больше Гомбрович говорит о том, что человек определяется «формой», что «человеческое есть межчеловеческое»³⁰, он выходит за пределы философии существования, вступая с ней в неразрешимое противоречие.

¹ Sandauer A. Polska formuła egzystencjalizmu // Współczesność. 1959. Nr 18.

² Sandauer A. Gombrowicz — człowiek i pisarz // Gombrowicz i krytycy. Kraków, 1994; Barrili R. Sartre i Camus w Dzienniku // Gombrowicz filozof. Kraków, 1991; Franczak J. Rzecz o niezeczywistości: "Młodości" Jeana Paula Sartre'a i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Kraków, 2002.

³ См.: Мальцев Л. А. Гомбрович и Розанов: борьба с формой // Балтийский филологический курьер. № 5. Калининград, 2005.

⁴ Милош Ч. Шестов, или О чистоте отчаяния // Шестов Л. И. Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. IV.

⁵ Сабато Э. Фердиурке // Иностранная литература. 2004. № 12. С. 241.

⁶ Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. М., 1991. С. 47.

⁷ Там же. С. 59.

⁸ Там же. С. 106.

⁹ В книге «Польские воспоминания. Странствия по Аргентине» есть подраздел со знаменательным названием «Польский и американский практический экзистенциализм». «Практическому экзистенциализму» Гомбрович даёт такое па-

радоксально-«примитивное» определение: «Экзистенциализм — это, прежде всего: живи как придется. Экзистенциалист — это тот, кто непосредственно сталкивается с жизнью... Экзистенциалист знает, что никакая идея или теория не исчерпывают смысла жизни» (*Gombrowicz W. Wspomnienia polskie. Wędrowki po Argentynie*. Warszawa, 1990. S. 201).

¹⁰ *Jeleński K. A. Bochaterskie niebohaterstwo Gombrowicza // Gombrowicz filozof*. S. 163.

¹¹ Цитируется здесь и далее по изданию: *Gombrowicz W. Dziennik*. Kraków, 2003. Т. 1—3 — с указанием тома и страницы в тексте.

¹² *Шестов Л. И.* Указ. соч. С. 155.

¹³ *Гомбрович В.* Космос. СПб., 2001. С. 41.

¹⁴ *Шестов Л. И.* Указ. соч. С. 77.

¹⁵ *Ерофеев В. В.* В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 75.

¹⁶ Эту точку зрения легко можно оспорить. Действительно, в «Преступлении и наказании» повествователь концентрируется на сознании убийцы, держа где-то на «обочине» состояние его жертв. Но в произведении есть большое отступление — сон Раскольникова, где «фокусом» становятся страдания савраски: сцена ее убийства Миколкой приобретает символическое измерение. Это пример преступления «неформального», в котором исключительно важна сама жертва — ее боль, сопротивление, судороги. Само убийство показано глазами ребенка, следовательно, оно не может восприниматься с точки зрения «отвлеченных моральных принципов».

¹⁷ Высказывание Н. К. Михайловского здесь вполне применимо к интерпретации Л. И. Шестова.

¹⁸ *Шестов Л. И.* Философия трагедии. М., 2001. С. 212.

¹⁹ Там же. С. 223.

²⁰ Там же. С. 224.

²¹ «Самые слова "добро" и "зло" не существуют. Их заменили выражения "обыкновенность" и "необыкновенность", причем с первым соединяется представление о пошлости, мелочности, ненужности; второе же является синонимом величия» (там же. С. 211).

²² *Jarzębski J.* Gra w Gombrowicza. Warszawa, 1982. S. 395.

²³ *Гомбрович В.* Указ. соч. С. 594—595.

²⁴ Там же.

²⁵ *Шестов Л. И.* Философия трагедии. С. 46.

²⁶ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. М., 1973. Т. 5. С. 174.

²⁷ *Шестов Л. И.* Апофеоз беспочвенности. С. 163.

²⁸ Там же. С. 165—167.

²⁹ *Гомбрович В.* Указ. соч. С. 163.

³⁰ *Głowiński M.* "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Warszawa, 1991. S. 8.

IX

Ресурсы русского языка



